



Н.С. ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

Борьба за преобладание

Содержание

#1	0006
Глава первая	0007
Глава вторая	0010
Глава третья	0014
Глава четвертая	0018
Глава пятая	0023
Глава шестая	0026
Глава седьмая	0028
Глава восьмая	0031
Глава девятая	0033
Глава десятая	0036
Глава одиннадцатая	0040
Глава двенадцатая	0043
Глава тринадцатая	0047
Глава четырнадцатая	0053
Глава пятнадцатая	0056
Глава шестнадцатая	0058
Глава семнадцатая	0063
Глава восемнадцатая	0067
Глава девятнадцатая	0071
Глава двадцатая	0077
Глава двадцать первая	0082
Глава двадцать вторая	0089
Глава двадцать третья	0092
Глава двадцать четвертая	0097

Николай Лесков
Борьба за преобладание
(1820–1840)

Обер-прокурор князь П. С. Мещерский. – Ст. Д. Нечаев. – Его «жандармские проделки». – Промах Филарета Дроздова. – Обер-прокурорские подручники. – Андрей Н. Муравьев. – Общее восстание синодалов против обер-прокурора Нечаева. – Новая ошибка синода без участия Филарета. – Смиренный Серафим. – Обер-прокурор полковник Протасов. – Его различие с Нечаевым. – Усиление канцелярщины. – Торжество победителей.

Глава первая

Сынове века сего мудрейши паче сынов света суть в роде своем.

(Лук., XVI. 8)

Профессор киевской духовной академии Филипп Алекс. Терновский поместил в одной из книжек духовного журнала «Странник» небольшой, но прелюбопытный отрывок из воспоминаний бывшего синодального секретаря Ф. И. Исмайлова. Период времени, описываемый покойным Исмайловым, – двадцать лет его служения в синоде, с 1820 по 1840 год, именно те самые годы, когда совершилась замечательная в истории синода борьба членов синодального присутствия с обер-прокурорами.

Отсюда понятно, какой живой интерес должны иметь для истории правдивые воспоминания близкого свидетеля этой борьбы, нередко даже принимавшего в ней участие и, наконец, в заключение существенно от нее пострадавшего.

Мы берем из этого отрывка только самые

существеннейшие черты, которые выясняют нечто до сих пор в этой истории неясное, и стараемся привести то, что нам самим известно из других записок или рассказов современников, которых еще немало находится в живых.

Абрисы и рассказы секретаря Исмайлова очень безыскусственны и местами даже просты до наивности, но этим они внушают большое доверие к автору, – человеку, который, как мы сейчас увидим, представляется очень добрым, тепло верующим и совестливым. Но, несмотря на всю непритязательность и скромность воспоминаний Исмайлова, они в некоторых случаях заставляют отдать им полное предпочтение перед тем, что начертано рукою более или менее фразистых некрологов и тенденциозных историков.

Исмайлов своими чистосердечно раскрытыми воспоминаниями не только сообщает много любопытных частных о событиях, главные пружины которых кроются до сих пор в хаосе канцелярского хлама, но и безыскусственно ловит на бумагу такие штрихи, которые сразу наводят на известные истори-

ческие лица совсем не ту игру, которая застыла на их портретах, списанных по правилам мертвой рутины.

Борьба за влияние в синоде, как известно, окончилась полной победою обер-прокуроров, но победа эта далась им не легко и не сразу. Члены тоже пытались за себя постоять и стояли, как могли, или лучше сказать, – как умели. Тут мы увидим самое простое и чисто-сердечное повествование об этом уменье и неуменье и будем в состоянии спокойно сравнить силы, какие явлены борцами одной и другой стороны.

Глава вторая

Первый обер-прокурор, которого знал и описал Исмаилов, был князь Петр Сергеевич Мещерский. Он и принял автора на службу по просьбе генерала Капцевича, у которого Исмаилов учил детей. Князь Мещерский по просьбе генерала определил учителя «к обер-прокурорским делам, а чтобы коронная служба не отнимала у него много времени от частных занятий с воспитанником, стал давать ему особые поручения, которые тот мог исполнять дома в свободное время».

Через два года такой службы Исмаилова сделали секретарем.

«Синод тогда занимал два ближайшие к Неве прясла двенадцати коллегий». Автор подробно описывает синодальное помещение и меблировку, которые произвели на его впечатлительную душу очень сильное впечатление, не исчезнувшее во всю его жизнь.

Это интересно само по себе и любопытно для уяснения характера человека, которого довольно грузная обстановка синодальной камеры не только поразила, но даже как-то

поработила себе его чувства. Вот как описывает он это помещение и его обстановку:

«Со входа чрез переднюю в приемную залу и экзекуторскую на правой стороне помещалась канцелярия, а на левую было присутствие. Присутственная комната вся обита и драпирована малиновым бархатом с золотыми кистями и бахромою; посредине присутственный стол, покрытый таким же бархатом с золотым же убором; пред столом во главе тронное кресло, а по сторонам шесть кресел для членов; слева стол для обер-прокурора с одним для него креслом и стулом для чиновника за обер-прокурорским столом, а справа стол обер-секретарский с двумя стульями; против тронного кресла налой для докладчика, а за ним несколько поодаль – такой же для протоколиста. Вся вообще мебель богатая, но не столько изящная, сколько величественная.

На присутственном столе, кроме зеркала в середине, крест и Евангелие пред тронным креслом и Библия – пред наложником докладчика. За тронным креслом – портрет царствующего государя, а по сторонам на пьедесталах и в дорогих ковчегах мощи Андрея Первозванного

и подлинный духовный регламент Петра Великого. В переднем углу образ Спасителя, в заднем – огромные старинные часы, а по стенам, в приличных местах, два или три царские портрета. Словом, присутственная комната св. синода, или, как ее называют официально – камера, поражая входящего и величием и святынею, представляется ему как некое святилище или как богато убранный алтарь, особенно когда члены бывают в мантиях, например, на архиерейских наречениях».

Это так понравилось нашему автору, что он (стр. 76) «ни одного шага не мог сделать без благоговения, и когда стал докладывать, то чувствовал себя в каком-то молитвенном состоянии, как бы в церкви». Состояние поистине завидное и испытываемое далеко не каждым.

Служебные занятия в синоде автору не нравились: «пищи для ума никакой, одна рутина и рутина; я горевал, чувствовал, что упадаю духом, и порывался оставить службу в синоде, но мне все-таки было жаль расстаться с этим местом служения, – и я удержал себя по тому чувству благоговения, которое возбу-

дилось во мне при вступлении в первый раз в присутствие св. синода».

Следовательно – ясно, что мы имеем дело с человеком души очень мирной и благоговеющей, и это надо запомнить, чтобы при дальнейшем следовании за его воспоминаниями не принять его иногда за отрицателя.

При Мещерском в синоде в каждом угле расстилались тишь, гладь и божия благодать.

Такой мирной картиной воспоминания начаты, но не то нас ждет в их продолжении.

Глава третья

С выходом из обер-прокуроров князя П. С. Мещерского (1817–1833 года), при котором в синоде «строго соблюдалась тишина и порядок, почти как во время народного церковного богослужения», – строй этот сразу же падает. При обер-прокуроре Нечаеве и потом при графе Протасове (1833–1855) пошли неурядицы и ожесточенная борьба за преобладание. Притом оба эти обер-прокурора сами были большие ругатели.

Воспоминания о Степане Дмитриевиче Нечаеве начинаются с того, что при нем синод перешел в свое нынешнее помещение. Тут это учреждение посетил государь Николай Павлович, и автор, описывая посещение его величества, как будто подозревает, что при этом случае члены синода получили какое-то «предварение», в силу которого «никто из членов государя не встретил, а встретил его один обер-прокурор со своими классными чиновниками».

Конечно, это значило не то, что обер-прокурор Нечаев как будто считал за неуместное

парадность встречи его величества, а совсем что-то другое. Чувствуется, что обер-прокурор как будто имел намерение оттереть членов и выдвинуть вперед свою канцелярскую армию, – тогда, впрочем, еще не вполне размноженную. Нечаев «расставил всех на крыльце и в сенях по разрядам должностей; впереди стояли обер-секретари, за ними секретари, далее прочие чиновники». – «Члены для первого присутствия были в мантиях и могли бы быть всех виднее и представительнее, но обер-прокурор сделал так, что они оставались во время встречи государя в зале».

«Степан Дмитриевич Нечаев, по словам автора, был прокурор не легкий (легкого автор так и не дождался). Пока он (т. е. Нечаев) служил за обер-прокурорским столом, он держал себя прилично, – ласков был с чиновниками и льстил членам». (Льстить старшим, по мнению Исмаилова, значило «держаться прилично», – так думал он для себя, а может быть, так же внушал и генеральскому сыну, которого воспитывал на счет сумм св. синода.)

«Особенно льстил Нечаев московскому

митрополиту (Филарету Дроздову), который, известный государю и всем как муж совета, был в большой силе. Но когда (Нечаев) добился обер-прокурорства, показал себя в натуральной наготе».

«С чиновниками, говорит автор, Нечаев мог обходиться как хотел, но ему хотелось взять верх и над членами синода» и, вероятно, особенно над самим мужем совета, с которого он это и начал. До сего времени он ему «льстил особенно», а теперь постарается особенно же вредить ему.

Необыкновенно любопытно: какие тонкости проницательного ума обнаружит этот честолюбец в борьбе с таким человеком, как Филарет Дроздов, уму и прозорливости которого у нас до сих пор все еще никак не подведут настоящего итога.

Но, увы, характерные и в своем роде замечательные приемы Нечаева выражают только одно: что нет силы сильнее подлости, которая способна не остановиться ни перед чем, а такая сила всего матерее зреет в канцелярской среде, где в атмосфере лести и искательств сформировался каверзный обер-про-

курор, взявший перевес над Филаретом.

Глава четвертая

«Вдруг, ни с того ни с сего, появились жандармские доносы на архиереев и на членов синодальных. Доносы оказывались большею частью ложными. Канцелярия подозревала, что в них участвует сам обер-прокурор, имея целью унижить духовное правительство в России. Архиереи и члены синода оправдывались сколько могли. Синод очень беспокоился, показывал вид беспокойства и обер-прокурор и, подстрекая членов к неудовольствию, говорил, что учреждение жандармского досмотра делает более вреда, нежели пользы».

Взволнованные члены синода должны были рано или поздно выйти из терпения и опротестовать злочинство, совершаемое над ними «жандармским досмотром». А как всеми этими махинациями по какому-то поводу руководил сам обер-прокурор, то ему и не трудно было воздвигнуть донос на лицо более других характерное, умное и горделивое, — именно на самого «мужа совета»... Понятно, что с ним и следовало переведаться и его за-

марать или сделать подозрительным и безгласным, а потом с остальными справиться было уже не трудно.

На Филарета появился донос от жандармов.

Автор не поясняет, в чем именно состоял этот донос, ни того, как обер-прокурор Нечаев организовал такие удобные вещи. Впрочем, Исмайлов, по-видимому, даже и сам недоумевает, как это могло быть устроено; но мы, жившие позднее, когда практика доносов, до закрытия III-го Отделения, была развита гораздо обширнее, знакомы отчасти по слухам с этими приемами. Они заключались в том, что если кому не люб был известный человек, то тот делал на неприятеля извет жандармам. Жандармы же, – частью по обязанности извещать о всех вещах, хотя бы и недоказанных, но подозрительных, а частью и по желанию обнаруживать большую деятельность, и по безответственности за донос ложный, – были благодарны за указания и давали ход всему, что до них доходило. Таким образом, доносить на людей, деятельность которых шла перед глазами доносчика, всегда была обшир-

ная возможность. Намерение, жест, мина, а тем паче нетерпеливое слово, – для доносчика все это материал.

Всего вероятнее, что обер-прокурор Нечаев знал рассказываемую циркуляцию гораздо лучше, чем его добрый и простодушный секретарь, и пользовался этим нехитрым, но сильно действующим средством для борьбы с Филаретом...

Итак, удивительно не то, что он добрался до Филарета, но то, что он с первого же абцуга заставил этого осторожнейшего человека проделать все, что ему продиктовала каверзливая душа подьячего. «Случилось, говорит автор, поступить доносу на московского митрополита; донос передан обер-прокурору с высочайшим повелением – рассмотреть синоду. Этого-то властолюбивому гордецу (т. е. Нечаеву) и хотелось: с доносом он едет к митрополиту (самому же Филарету) и убеждает его вместе с оправдательным объяснением изложить мнение, что данное жандармской команде право доносить со слухов и без всякой за ложь ответственности стесняет свободу администрации и, как похожее на слово и

дело, лишает подданных спокойствия. Митрополит, дотоле уважаемый государем, не остерегся и попал в расставленные ему так хитро сети: он написал оправдание, написал и мнение. Обер-прокурор, минуя синод, где в общем собрании, может быть, предостерегли бы митрополита, представил его оправдание и мнение прямо государю императору. Государь разгневался, и поступок митрополита, как противный верховной власти, едва не распустиковал чрез св. синод по всей России».

О такой угрозе Филарету Дроздову нам не приводилось слышать, но в рассказах об этом иерархе не упоминается обыкновенно и всей этой истории, в которой, к удивлению нашему, Филарет допускает играть собою очень легко, даже без большой хитрости... Это совсем не вяжется с господствующими представлениями о необыкновенной будто бы умственной прозорливости иерарха и его до щепетильности осторожном характере.

После рассказанной неосторожности, как бы омрачившей на мгновение ум прославленного за свою мудрость Филарета, перехо-

дим к дальнейшим победам обер-прокурора Нечаева над целым составом синодальных членов, причем получим несколько образцов нравов и характеров низших синодальных дельцов, – тоже по большей части происшедших из духовного звания и культивированных в духовных училищах.

Глава пятая

«Обер-прокурор, пошатнув опору синода (Филарета), стал действовать решительнее: он изменял резолюции и определения святейшего синода и затевал ограничить архиерейскую власть». Важнее всего в этом роде было то, что Нечаев совсем было исторг из их рук ведение «архиерейской кандидатуры».

Здесь рассказывается характерный случай из борьбы обер-прокуроров с архиереями и со всею откровенностью излагается мало кому известный «процесс архиерейской кандидатуры».

«Открылась вакансия архиепископской кафедры; надобно было избрать и представить на высочайшее утверждение кандидатов. Процесс архиерейской кандидатуры таков: синод ищет по своим спискам достойных и, соображаясь со старшинством, с познаниями и опытностью, равно и с местными особенностями вакантной епархии, назначает трех кандидатов, предоставляя окончательное назначение выбору государя императора. Но чтобы государь знал, на кого из представляе-

мых обращает синод свое мнение преимущественно, предоставлялось обер-прокурору приложить ко всеподданнейшему докладу записку о том. Как вакансия открылась в епархии второклассной, то на кафедру ее рассудили перевести архиерея-епископа, а в епископа избрали из архимандритов и на обе кафедры представили по три кандидата, объяснив словесно обер-прокурору, кого из них синод признает более достойным».

В существе дела представление трех кандидатов – была только одна проформа, а главная всему суть состояла именно в том «словесном объяснении, кого синод признает более достойным». Выбор, стало быть, падает собственно только на одно это лицо, а два остальные его лишь декорируют... И при таких условиях очень легко понять, как важно, чтобы обер-прокурор имел хорошую память и добрую совесть. Все назначение зависит от того, чтобы он точно доложил государю – кто из трех именуемых для проформы кандидатов есть настоящий избранник.

Мы почти теперь только понимаем всю ту горячность, с какою покойный волынский ар-

хиерарх Агафангел Соловьев, в известной своей отповеди на предложения духовно-судебной реформы, говорил о преимуществах, предоставляемых обер-прокурору его правом подносить к трону решения синода, тогда как синодальные члены таковым правом не пользуются, и потому не знают, в каком виде суждения их докладываются монарху.

Можно ли было предвидеть от этого серьезные опасности, какие предвидел покойный Агафангел, усвоивший себе еще с молодых лет репутацию большого «политикана»?

Если судить по прошлому, то следующий случай, помимо своего исторического значения, может пролить свет на упомянутые опасения.

Глава шестая

У обер-прокуроров того времени – даже самых кичливых – почти всегда бывали партизаны «из среды начальствующих монахов», т. е. из таких, кои сами метили в архиереи и старались иметь обер-прокурора на своей стороне. По отношению к членам синода эти лица вели себя иногда очень предательски, но обер-прокурора держались, и недаром. Расчет их был верен и лица их не постыжались. Следующий случай, который мы сейчас же расскажем, представит убедительнейшее доказательство, что мог сделать обер-прокурор и на какую дерзкую отвагу способны были наши высшие чиновники перед лицом даже такого грозного государя, как император Николай Павлович.

«Обер-прокурор (Нечаев) составил себе партию из начальствующих монахов и, передавая доклад на высочайшее рассмотрение и утверждение, выставил в записке достойными не тех, кого синод назначил», т. е. солгал государю.

«Выставил в записке», а не на словах доло-

жил. Это произошло потому, что в то время (до Протасова) обер-прокуроры еще лично государю не докладывали, а вносили свои доклады в кабинет императора через статс-секретаря. Следовательно, что синодалы сказали Нечаеву, то этому последнему приходилось написать на записке, которую докладывающий статс-секретарь обязан был подать императору.

Нечаев при исполнении этого не побоялся пословицы, что «написанного пером не вырубишь топором», и обманул государя самым дерзким и самым возмутительным образом. Он написал его величеству совсем не те имена, которые ему произнесли члены синода, а назвал другие имена лиц, которых он один своею единоличною властью хотел вывести в архиереи и действительно вывел.

Наглость Нечаева в обмане строжайшего из государей была так велика, что он не только не стеснялся оставить след своей дерзкой лжи на бумаге, но даже имел уверенность, что все это сойдет ему безнаказанно, и тут же опять не ошибся.

Глава седьмая

«Государь, разумеется, утвердил доклад по записке обер-прокурора и доклад сошел с собственноручною высочайшею резолюцией: быть такому-то и такому-то». То есть государь назначил быть тем, которых подставил ему самовластно Нечаев, вместо тех, кого считало достойнейшим полное собрание святейшего синода.

Это необходимо должно было вызвать негодование в членах синода и произвести бурю, которая должна была сорвать с дерзкого нахала вскинутую им на себя не по плечу епанчу.

Кажется, и в самом деле непременно надо было ожидать чего-нибудь крупного и даже грандиозного – достойного высокого сана мужей, которые были так дерзко и так смешно унижены.

Пусть неприятный пример одного из них (Филарета Дроздова) был им и памятен, но Филарет в тот раз заступался за себя: он себя защищал против жандармских доносов, – а теперь на сцене было не чье-либо личное бес-

покойство, а святейший интерес церкви, которой эти люди служат столпами и светильниками... Уж конечно, они не останутся перед страхом за личное благополучие и по долгу совести и присяги доведут до государя поступок преступного чиновника, который дерзнул обмануть его величество... Государь из самой записки, какую ему вручил через статс-секретаря Нечаев, непременно убедится, что члены синода доводят ему правду, и тогда гнев его всеконечно падет не на правых, а на виноватого, который вполне заслуживал и гнева, и наказания.

Таков, кажется, единственный прямой путь, какой люди, преданные своему долгу и уважающие святость власти монаршей, должны были избрать и совершить с бестрепетностью истинных христиан и сопоследователей митрополита Филиппа Колычева... Его могущественный пример, вероятно, вдохновит их и напомним им, насколько дело им предстоящее легче и безопаснее того дела, которое совершил в свое время св. Филипп, не преклоняясь «ни на-десно, ни на-шуе».

Но напрасно мы будем настраивать свое

воображение на лад столь высокий. Хотя все, что мы сказали, казалось бы и не превышало силы очень обыкновенных людей, исполненных только сознания долга, однако ничего подобного не случилось, а вышло нечто совсем иное. В развязке дела не имело места ничто, дышащее благородным негодованием, которое должно бы вызвать благородные же и открытые действия, а вышло что-то мелкое, перекорливое, базарное, с обнаружением свойств ужасающего мелководушия.

Глава восьмая

Обер-прокурор Нечаев, сдавши резолюции, исторгнутые им обманом у государя, сам замедлил прибытием в присутствие синода. Вероятно, это входило в какие-нибудь его расчеты.

Члены собрались ранее и, «увидя высочайшую резолюцию, изумились и не знали, что делать».

Когда Нечаев, наконец, пожаловал в присутствие, святители спросили его:

– Отчего это государь не соизволил утвердить кандидатов по нашему назначению?

– Не знаю, – отвечал обер-прокурор, весь вспыхнув.

Этим ответом Нечаев во всяком случае несомненно подтвердил, что государем утверждены не те избранники, которых синод словесно наименовал ему, обер-прокурору; иначе слово «не знаю» не имело здесь смысла, а обер-прокурор прямо должен был сказать:

– Нет, вы ошибаетесь, – его величество соизволил утвердить тех самых лиц, кого вы просили.

Так должен бы отвечать человек, который поступил как следует, и принес с собою правду, а не плутовство; но так же поступил бы и находчивый плут, умеющий и красть, и краденое прятать. Словом, Нечаеву, очевидно, надо было запереться и лгать, глядя смело в глаза людям.

Глава девятая

«Завязался спор с упреками и угрозами с обеих сторон...»

Какие же могли быть угрозы?

Синодалы, понятно, могли «угрожать» Нечаеву тем, что доведут его проделки до государя. Он мог им поверить или не поверить, что они способны сделать, если не то, что должны, то, по крайней мере, хоть то, что могут... Конечно, он знал характеры этих особ и распорядился ими сообразно своим о них понятиям, но чем он, кругом виноватый, смел угрожать обиженным святителям – это совершенно непонятно. Они, может быть, подлежали какой-нибудь укоризне за бесхарактерность и неуместную покладливость там, где совесть указывала бы иное отношение к делу, но за кем же из них были такие виновности, как обман государя и подвох, сделанный на его собственных глазах и под его руками? Чем кругом виноватый Нечаев мог запугать иерархов? К сожалению, в записках нашего автора ничего об этом не объяснено. Может быть, святителям страшно было не то, что на

них можно доказать, а страшен был просто доступ Нечаева к государю; страшно было, что он мог представить еще какую-нибудь записку, о содержании которой члены синода и знать не будут, а между тем впадут у государя в немилость, как это ранее уже случилось с Филаретом.

Но как бы то ни было, Нечаев, вначале сплеховавший и сконфузившийся, поправился и сумел заставить святителей замолчать. После перепалки с Нечаевым, где этот последний не уступил им ни в чем, члены перешли к своим очередным занятиям. Однако Нечаеву еще казалось мало, что он так наиздевался над правдою, а может быть, ему было и несколько беспокойно – как бы не разошлась молва в людях и не дошла до государя. Много упражнявшись сам в доносах на своих членов, обер-прокурор, конечно, знал, как это не трудно устроить, а раз что государь пожелает свериться с запискою, тогда ложь Нечаева выйдет наружу. Надо было дать делу другой фасон – так, чтобы если оно и дойдет до государя, то чтобы кривда вышла правдою, а правда – кривдою, и чтобы обманутый уже

один раз император был обманут еще раз и еще хуже, и при этом совершил бы еще большую несправедливость, разгневавшись на совершенно правых членов синода.

Это был план очень предусмотрительный и совершенно необходимый. Дело надо было переделать именно в этом роде, но только для этого надо было заручиться несколькими благородными лжесвидетелями, которые в случае надобности могли бы удостоверить, что митрополиты называли обер-прокурору именно те имена, которые утвердил государь, а теперь позабыли это по своему беспамятству или по каким-то иным причинам говорят другое.

Тогда обер-прокурор выйдет чист и прав, а их святейшества будут знать, что «сынове века сего мудрейши паче сынов света суть в роде своем», и вперед станут еще смиреннее и еще осторожнее.

Вопрос только был в том, где подобрать мастеров в нужном роде?

Но в этом не могло быть затруднения: Нечаев видел их перед собою целый рассадник.

Глава десятая

После присутствия обер-прокурор обратился к двоим обер-секретарям – к автору записок, как к докладчику, и к протоколисту, и «потребовал подтверждения своих слов, что синод назначил именно те лица, которые утверждены государем».

Тут сейчас сказываются нравы нового сорта синодальных деятелей.

«Зная правоту синода, но не смея оправдывать (правых), все говорили: „Кажется, помнится и т. п.“... То есть „кажется и помнится“, что было так, как именно на самом деле не было».

Сам о себе прямодушный автор говорит:

«Я сказал, что не знаю».

У Исмаилова был некоторый повод сказать «не знаю», но тоже повод казусный.

«Я сказал не знаю, потому что хотя в то время докладывал и я, но о том, кого утвердить государю, говорили после доклада, когда я вышел в канцелярию».

Юридически этот смиренномудрый чиновник был прав и нравственно не совершал, по

крайней мере, грубого лжесвидетельства, тогда как сказавшие, что им «кажется и помнится», прямо вышли клеветниками и потворщиками государеву обманщику. Но, конечно, и Исмайлов своею казуистическою натяжкой хотя и поосвободил немножечко свою совесть из Нечаевских тисков, но, однако, своим «не знаю» тоже оказал Нечаеву большую поддержку. Тем, что он не хотел быть против него и за правду, он был за него и против правды.

Это сейчас и выразилось тем, что Нечаев «воскликнул».

Увидав, что против него и за архиереев нет никого, Нечаев закричал:

– Я докажу этим калуерам, что такое оберпрокурор!

Еще бы не доказать, имея таковой облак свидетелей или робких и ничтожных, или прямо с «прожженной совестью». Только тот, кто встречал суровую необходимость дознать, на что способны эти отпрыски духовно-канцелярского семени, может понять, отчего митрополиты сами не пожелали опросить секретарей и на них сослаться, а должны бы-

ли затаить свой справедливый гнев и оставить угрозы, в виду большой неприятности, какую бы им сочинил Нечаев в случае, если бы они не замолчали. При таких людях, как описанные секретари, митрополиты рисковали сами быть выставлены перед государем лжецами и интриганами...

Трудно вообразить и без ужаса себе представить этот страшный порядок дел, который сложился и много лет всевластно господствовал вокруг полномочнейшего в мире государя, обладавшего умом, душевною мощию и благородством. Пусть, кто может, отрицает значение учреждений, если они могли поставить центр самой сильной власти вне всякого доступа для слова правды и посеяли в нашем отечестве самые злые семена.

Но вот воспоминания покойного секретаря выдвигают перед нами еще новый тип синодального деятеля, как тогда говорили, – «из больших барчуков».

Тип этот не менее других интересен, хотя описывающий его автор, к сожалению, очевидно, совершенно незнаком ни с внутренним миром этого особого героя, ни с тай-

ными побуждениями его вернопреданности иерархам, – о чем, впрочем, известно довольно много рассказов, достоверных не менее писанных воспоминаний Исмайлова.

Глава одиннадцатая

В то время, когда Нечаев сыграл свою предательскую проделку с государем и членами синода, стараясь еще раз обмануть сих последних, что они не то говорили, что ими действительно было ему сказано, – «за обер-прокурорским столом сидел чиновник, коллежский советник, человек фамильный, умный, религиозный и чтитель монашествующего духовенства».

Это был известный Андрей Николаевич Муравьев, в видах особенного почтения к которому, мы, в наши учебные годы, понуждаемы были наизусть заучивать его ничтожные сочинения, как будто они заключали в себе какие-то высокие литературные достоинства.

В видах поощрения издателя книги Муравьева раздавали в награду, покупая их на казенный счет, а в старших классах задавали писать сравнения между им и Шатобрианом, причем, конечно, для хорошего балла требовалось, чтобы Шатобриан был как можно ниже поставлен в сравнении с Муравьевым, – «русским Шатобрианом...»

Это было время лжи и лести, которая рас-
точалась повсеместно, даже там, где ею не
мог любоваться тот, в угоду кому гнули и ко-
веркали молодой ум и молодую совесть...

По силе отражения все это дало свой плод:
неверие ни во что, даже в то, во что должно
верить.

Нивы, уродившие плевелы нигилизма, бы-
ли возделаны именно тогда...

Но возвращаемся к нашей истории.

Во все время возмутительнейшей сцены,
когда старший чиновник синода с наглостью
сражался с иерархами, которые обнаружива-
ли его плутню, а стоящая под ним секретар-
ская мелюзга виляла и гнулась, как ветром
колеблемое тростие, Муравьев сидел здесь же
и произвел на Исмайлова импозантное впе-
чатление...

«Во время спора Муравьев молчал и, хотя к
нему обращались (с вопросами), не склонялся
ни на ту, ни на другую сторону».

То есть Муравьев тоже не хотел сказать
правды: «молчал и не склонялся». Он знал все
так же хорошо, как и секретари, которые уже
замололи вздор, но не мешал лжецу обер-про-

курору ставить святителей в невыносимое положение. Несмотря на то, что он был родо-вит, «фамилен» и его неудобно было вышвырнуть из-за обер-прокурорского стола, как всякого секретаришку, он все-таки не говорит правды, а молчит. Превосходный пример для худородных!

Так, кажется, и видишь эту дылдистую фигуру, с большими, неприятными глазами и типическим русым коком: эта фигура не то, что все, – она непременно должна сделать на своем седлистом вертлюге какой-то совсем особый поворот, в каком-то византийском роде с русским оттенком, и это сейчас будет перед нами проделано.

Глава двенадцатая

Члены св. синода, конечно, не могли быть довольны «фамильным чителем монашества», который во время пронесшегося урагана важно стоял, как «высокий дуб развесистый», и не произнес ни одного слова в пользу правого дела. Читатель монашества мог остановить все оскорбительное для святителей развитие этой истории, но такой простой и прямой образ действий и не представляется возможным автору воспоминаний, и, может быть, он казался невозможным и самим членам.

Неудивительно, что тогда, по понятиям секретаря, члены синода не должны были сердиться на Муравьева за то, что он их предал почти так же, как и все прочие, т. е., при всей своей святости и любви к монашествующему духовенству, не поддержал их перед расходившимся чиновником, а «молчал», когда должен был не молчать. Исмайлов держит тот тон, что члены как будто обязаны были принять за благо молчание Муравьева, потому что «он тайно сносился с членами сино-

да, поддерживал их и планировал, как устроить им доступ к государю».

Способность к интриге в Андрее Николаевиче, по мнению совоспитанных ему, была не велика и не высокой пробы. Самое тонкое и внушительное в его политике, по замечанию современников, было умение «стоять, как высокий дуб развесистый, один у всех в глазах». Эту внушительную позу он усилил с тех пор, как имел случай поднести государю свое сочинение «Путешествие к святым местам». Другого такого великосветского благочестивца не было, и это обращало на него внимание. [1] Его намерения, между коими главным считали занятие обер-прокурорского места, всегда были обнаруживаемы ранее времени и почти постоянно не удавались. Но несостоятельный для интригантной борьбы с совоспитанными ему людьми светскими, Муравьев был гений сравнительно с персонами духовными, основательному уму которых чаще всего не достает смелости, гибкости и творчества, столь необходимых в умной интриге. Для них А. Н. Муравьев представлялся способным дипломатом, и они охотно допустили его

занять при своих особах тайный дипломатический пост, на котором он и совершил подвиг, незабвенный в истории синодальных злоключений.

Муравьев представлялся иерархам большою силою, особенно во внимание тех связей, какие он имел с лицами, близкими ко двору, но притом митрополиты, или, по крайней мере, один из них – Филарет Дроздов, кажется, понимал дальние цели, которые Муравьев себе наметил и ради которых ему лестно было усердно стараться о смещении из обер-прокуроров Нечаева. Притом «высокий дуб» хотя и был «развесист», но получал не обильное питание у своих корней, – он часто нуждался и как-то никогда не умел устроить себя иначе, как «при духовном звании»...

При дневном свете он красовался в открытых для него великосветских гостиных, куда Андрей Николаевич вступал обыкновенно с свойственною ему исключительною неуклюжею грациею, всегда в высоком черном жилете «под душу» и с миниатюрными беленькими четками, обвитыми вокруг запястья левой руки; здесь он иногда «вещал», но более всего

собирал вести: «куда колеблются весы». А обогатясь этими сведениями, скидывался Никодимом и «нощию тайно сносился» с иерархами. Собственно деятельность была не тяжелая и особенного ума не требовавшая, но сложная и ответственная. Андрей Николаевич разом работал на пользу загнанных обер-прокурором иерархов и для собственных благ, которые в одно и то же время составляли его заветнейшую мечту и благо православной церкви, радея о которой, он старался исправить заблуждения всех иномыслящих христианских церквей. Андрею Николаевичу самому хотелось быть обер-прокурором, и это по многим мнениям непременно должно было случиться, так как «лучше его для этого места не было человека». Через него господь непременно должен был совершить «дело решительное на земле».

Глава тринадцатая

В светских домах, где мало-мальски интересовались «загнанным синодом» и кое-что понимали о Нечаеве, – более по внушениям, которые делал Муравьев, – прямо говорили, что если только Нечаев будет смещен, то «Андрей Николаевич – готовый обер-прокурор». «Готовым» его называли, разумеется, потому, что, при тогдашнем повальном невежестве в делах церковного управления, Муравьев, который нечто в это время понимал, уже казался и невесть каким знатоком. От некоторых из святителей он слышал то же самое, и эти ему говорили: «кому же и быть, как не вам? Сам государь вас наметил». Муравьев, книгу которого государь будто читал охотно, верил, что на нем положена наметка и во всю остальную свою жизнь оставался в убеждении, что «обер-прокурорское место принадлежало ему по преимуществу и по праву».

Уверенность в этом не оставляла его даже в последний год его жизни, которую он доживал в своем живописном «киевском уголке», где он занимался распеканием местного духо-

венства и энергической критикой действий тогдашнего обер-прокурора, графа Д. А. Толстого, заместить которого он тоже имел надежды.

«– При всей преклонности лет моих, – говорил он пишущему эти строки, – я еще взял бы обер-прокурорское место для того, чтобы упразднить его и вернуть святителям отнятое у них значение».

Но через минуту после такой нежной заботы от имущих помазание от святого, он уже гневался и страшно поносил митрополита Арсения Москвина за то, что этот святитель забыл предложить ему завтрак, когда Андрей Николаевич приехал к нему в последний раз в Голосеев, чтобы указать опасность от существующего в Киевской лавре обычая выносить в сад для переодевания мощи святых по нескольку за раз. Он боялся, что их перемешают, и, кажется, имел на то свои причины.

Как думал о Муравьеве Филарет Дроздов, – об этом говорят различно. Сколько можно судить по их напечатанной переписке, то в ней не видно со стороны Филарета большого и серьезного уважения к Муравьеву. Некоторые

даже основательно удивлялись, зачем он поспешил напечатать эти письма без разбора. Во всяком случае, в этих письмах есть места, где миниатюрная ручка Филарета дает Андрею Николаевичу сдержанные, но очень чувствительные щелчки. Порою митрополит как будто даже тяготится излишком большого усердия Муравьева в переписке. Иногда он долго не отвечает и извиняется, но при этом на обширное послание опять дает ответ самой обидной краткости.

Вообще митрополит как бы не ощущал потребности в поддержке сношений с Андреем Николаевичем, а только во имя чего-то старого уступал его желанию часто вопрошать и свидетельствовать свою «преданность и уважение, уважение и преданность».

Вот это «старое», что их связывало до конца жизни, и кроется в истории описываемой секретарем Исмайловым борьбы за преобладание в синоде. Но Исмайлов, трогательный своим чистосердечием и простотою, очевидно, был слишком тесно замкнут в своем канцелярском кружке и глядел на свет и на людей только из синодального окошка, а отсюда

самые обыкновенные вещи часто представляются совершенно непонятными. Мелочи жизни до того удивляют серьезные умы, что, по рассказам протоиерея И. В. Васильева, усопший митрополит Филофей, увидав однажды, как шедший на смену к солдатской гауптвахте караул отсалютовал проезжавшему генералу, в глубоком удивлении спросил:

– Недоумеваю, чему сие соответствует? – и потом, когда ему рассказали, то он испугался своего собственного, в существе очень невинного, недоумения.

Говоря об Андрее Николаевиче Муравьеве, секретарь, очевидно, тоже совсем недоумевал, что возможно иметь какие-нибудь другие цели, кроме желания сидеть в синоде с тем поразительным благоговением, какое было заведено при князе Мещерском. Ни характера Муравьева, ни тех его целей, которые впоследствии не только ясно обозначились, но даже и самим им не утаивались, Исмайллов не понимает и не дает им никакого значения в своих простодушных воспоминаниях.

Отсюда все, что Исмайллов пишет о «тайных сношениях» Муравьева с митрополита-

ми, нельзя принимать за такие простосердечные действия, как принимает их секретарь, не смеявший и думать, что у «фамильного человека» могли быть какие-нибудь свои цели. Между тем Муравьев, как уверяют, имел надежду быть обер-прокурором вместо Нечаева, и надеялся на это «по праву», и действительно, кажется, имел такое право, ибо он из всех родовитых современников едва ли не один знал синодальные дела и членам синода был близок и любезен. Но шла ли эта любезность до того, что члены синода, действительно, желали иметь его своим обер-прокурором?

Очень может быть, что и желали. Если даже допустить, что митрополиту Филарету московскому, может быть, и не нравилась несколько беспокойная натура Андрея Николаевича Муравьева, то все-таки в такую критическую минуту, когда им надоела наглость Нечаева и главной их заботой было только, чтобы от него избавиться, Муравьев, конечно, был человек более других подходящий. Члены синода, получив его себе, по крайней мере, ничего бы не проиграли, а сам Муравьев, грубовато интригуя против Нечаева, мог про-

играть и проиграл. Но он шел с отвагою и без оглядки, ибо с одной стороны, ему мнилось, что он имеет за собою уже слишком много шансов, а с другой – близость осуществления заветной мечты, может быть, ослепляла его соображения, которым, повторяем, постоянно недоставало тонкости. Вышло же, однако, так, что, благодаря Муравьеву, все проиграли – и члены синода, и сам Муравьев, и притом проиграли сразу и навсегда. Беда эта пришла к ним, как на смех, именно тогда, когда они победили обер-прокурора Нечаева и только могли бы отторжествовать победу над своим врагом. Вся эта трагикомедия произошла благодаря вдохновительным воздействиям дипломатического гения Муравьева.

Глава четырнадцатая

Авторствующий секретарь пренаивно начинает повесть этой несчастной победы.

«Судьба или, лучше сказать, само Провидение помогло чиновнику за обер-прокурорским столом (Муравьеву) выполнить задуманный им план».

Провидение здесь, как во всех партийных интригах истории греко-восточной церкви, было необходимо, но в высшей степени характерно и любопытно, как оно сюда привлекается и комментируется.

У Нечаева была больная жена, которую отправили «для уврачевания в Крым, но она не получила облегчения». Не выздоровела она, если верить автору, тоже в особых целях провидения, которое томило ее тяжким недугом для того, чтобы принудить Нечаева оставить синод и ехать к жене в Крым, а в это время дать Муравьеву случай распорядиться своими делами. Произошло даже нечто перешедшее необходимость этого повода: «больная не только не обмогалась, но совсем померла», – и Нечаеву нельзя было скоро возвратиться в

Петербург. Таковы пути Провидения, обыкновенно неисповедимые для всех людей, исполненных истинного богопочтения, но всегда ясные для пустосвятов, которых суеверная набожность легко доводит до кощунственной смелости, с которою они позволяют себе объединять свои низменные соображения с недосягаемою мудростию Промысла. Умерла женщина, может быть, очень хорошая, и осиротила мужа и детей, – это для всякого доброго человека горе, которое обязывает состраданием и заставляет забыть свои мелкие счета, но для синодальных чиновников – это бенефис в пользу тех, кому выгодно, чтобы муж покойной не мог в это время вернуться к должности... Грубые сердца и темные умы, которых не коснулся луч истинного богопочтения, с возмутительнейшим фиглярством объявляют: «Это Бог! Это он пришел к нам на помощь, чтобы мы могли лучше обделать наше дело. Теперь мы им довольны и лобызаем его десницу, недруг наш в несчастьи, дом его пуст и дети его сироты. Слава святому Провидению!»

Кто иначе верует, – тот нигилист, и да изгладится имя его из книги жизни...[2]

Андрей Николаевич Муравьев тоже почувствовал, что «се настал час», для которого он пришел в мир.

Глава пятнадцатая

На время отъезда Нечаева к жене, болевшей и умершей, как разъяснил Исмаилов, ради предоставления врагам ее мужа полного удобства столкнуть этого зазнавшегося человека с места, «должность обер-прокурора исправлял товарищ министра народного просвещения, гусарский полковник граф Н. А. Протасов».

Какова была подготовка графа Протасова к занятию обеих высоких должностей, которые были ему теперь вверены вместо командования гусарами, давно известно. Впрочем, мы можем это очень кратко напомнить словами справедливого *curriculum vitae*, [3] которое прописал ему тишайший Исмаилов.

Граф Н. А. Протасов – «человек из знатной фамилии, с значением при дворе, по своей матери и теще, бывших статс-дамами при покойном государе Александре I, лично любимый императрицею как отличный танцор, воспитанник иезуита, приставленного к нему в гувернеры, – гордый не менее своего предместника» (т. е. Нечаева).

По-видимому, такой человек не отвечал даже и должности товарища министра, на которую у нас порою были назначаемы люди очень малого образования; но для управления синодом он, очевидно, как будто совсем не годился. Мысль сделать Протасова обер-прокурором могла разве прийти только ради шутки.

Обыкновенно назначение это ставят как бы в вину императору Николаю, но он едва ли не менее всех причинен в этом назначении. К удивлению, до сих пор очень немногие знают, кто именно был настоящим автором этой несчастнейшей мысли, принесшей церкви русской чрезвычайно много истинного горя и ущерба едва ли когда поправимый. А автор этот был не кто иной, как Андрей Николаевич Муравьев, который, действуя в качестве штатного дипломата при митрополитах, перехитрил самого себя – нанес синоду такой удар, отразить который после уже и не пытались.

Глава шестнадцатая

Назначение в синод гусарского полковника, «шаркуна и танцора», каким, может быть не совсем основательно, считали графа Протасова, – изумило столицу. На месте товарища министра народного просвещения он как-то не столь казался неуместен. На этой должности и тогда уже привыкли видеть людей, имевших весьма малое касательство к просвещению, и с этим уже освоились. Может быть, это даже считали до некоторой степени в порядке вещей. Тогда у многих было такое странное мнение, что будто просвещение в России не в фаворе у власти и терпится ею только по некоторой, даже не совсем понятной, слабости, или по снисхождению. Снисхождение это оказывалось пустой и вредной западной модой, которой очень бы можно и не следовать. Но кто понимал дело лучше и вообще был политичнее, тот не усматривал и несообразности, а только одну политику. Выводили, что в этом странном распределении должностей втайне проводится принцип «чем хуже – тем лучше». Стало быть, по мини-

стерству просвещения могло случиться все, ибо, говоря откровенно и без обиняков, – просвещение тогда многими считалось силою вредною для государства, а о своих врагах и вредителях никто радеть не обязан. Но православие – дело совсем другое, и оно потому стояло совсем на ином счету. Тогда находились только три начала жизни: «православие, самодержавие и народность», но из них, как сейчас видим, «православию» давалось первое место. В тройственности этих, объединявшихся в России и крепко ее связующих, начал православие как бы даже старейшинствовало и господствовало. И это, разумеется, было прекрасно. Что же иное достойно быть поставленным выше веры? Разве не она окрыляет надежды и питает любовь, без которых человеческое общество стало бы табуном или стадом? Но если это так, то тогда как же столь великое дело вверить человеку, который не только ничего в церковных делах не понимал, но еще на несчастье был дурно направлен каким-то иезуитом и до того предан легким удовольствиям света, что наивысшая похвала, которой он удостаивался, выпадала

ему только за танцы...

Какой же это, в самом деле, обер-прокурор для святейшего синода?

В обществе решительно не допускали, чтобы Протасов мог сделаться обер-прокурором синода. Что он был сделан товарищем министра народного просвещения, то Исмаилов справедливо замечает, что это относили к заслугам «тещи и матери» Протасова и к тому, что он нравился императрице «как отличный танцор». К тому же относили и данное Протасову поручение исправлять должность синодального обер-прокурорства на время отъезда Нечаева, по причинам «предуготовленным Провидением». Но все были уверены, что это не имеет долговременного значения и допущено только на короткий срок для удовольствия покровительствовавших Протасову дам. Говорили: «Он в короткое время ничего не напортит, а между тем Нечаев снова возвратится».

Но чтобы Протасов был утвержден в этой серьезной должности и уселся на ней на такой продолжительный срок, какой судил ему бог править судьбами правящих в русской

церкви слово истины, – этого никто не считал возможным.[4] И если где были предположения, что насоливший синодалам Нечаев будет смещен и начинали избирать на его место кандидатов, то обыкновенно называли в первую голову Андрея Муравьева, а в случае спора восклицали:

– Ну, уж только не гусар же ведь будет на его месте!

– Ну, разумеется, не гусар. Гусару разве поручат.

– Ни во веки веков.

– Ни во веки веков.

И затем опять планировали назначения способных и «готовых» людей, и тут опять волею-неволею первую номинацию получал Андрей Николаевич, как «обер-прокурор по праву и по преимуществу».

Такое «общее мнение», вероятно, сбило его с толку и побудило к энергическому и смелому движению, чтобы убедить императора Николая поскорее поспешить сменой Нечаева и назначением человека, всеми почитаемого необходимым для благоустройства церкви.

Зная неприступный нрав царя, с этим надо

было идти очень бережно, и вот подводится тонкая механика, которую, однако, прозрели люди, привычные к интриге, и вложили свои открытия «во ушеса дам», а те, как *broderies*, [5] вывязали все по своему узору.

Секретарь Исмаилов, во все эти любопытнейшие моменты огромнейшей из ошибок высшего церковного учреждения в России, продолжал смотреть на все из своего синодального окошка, откуда, как выше сказано, даже человек, стоявший много выше секретаря, затруднялся понять: «чему сие соответствует?»

Глава семнадцатая

«Так как отсутствие обер-прокурора (Нечаева) было довольно продолжительно, то чиновник за обер-прокурорским столом (Муравьев) успел уговорить первенствующего члена в синоде (митрополита петербургского Серафима Глаголевского) войти с докладом к государю о перемене обер-прокурора».

Чтобы оценить этот поступок Муравьева со стороны его дальнозоркости и трудности, надо знать, во-первых, что в это время московского митрополита Филарета Дроздова в Петербурге не было, а во-вторых, что «первенствующий член, старший митрополит в России и синоде» (Серафим) был человек «осторожный до трусости».

Будь в это время в Петербурге Филарет Дроздов, Муравьеву едва ли бы удалось подбить Серафима на крайне опрометчивое предприятие – просить государя о смене Нечаева и... о назначении на его место «танцора», графа Протасова. Почти невозможно сомневаться, что Филарет ни под каким видом не стал бы на стороне этого рискованного

дела. Хотя смещение Нечаева и могло быть угодно Филарету, который не забывал обид и, конечно, помнил, как Нечаев сначала оклеветал его через жандармов, а потом подвел хитростью в немилость у государя, но что касается просьбы о назначении совершенно неподходящего к синодским делам гусара, то весьма трудно допустить, чтобы Филарет на это согласился. Всерьез такая просьба всеконечно была бы противна уму и чувствам Филарета, а шутить было не в его нраве, да и какая шутка уместна в подобном случае. Оставалось одно – волей-неволей подумать: нет ли какого затаенного плана у того, кто заводит такую неподходящую механику? Ухищрение это, как уверяли, и как легко верится, состояло в том, что просьба о назначении Протасова непременно должна была показаться государю неподходящею, ибо думали, что государь и сам был невысокого мнения о способностях этого человека. Он позволял графу делать карьеру отличавшими его светскими талантами, которые находили Протасову благорасположение влиятельных дам, но на должность обер-прокурора его ни за что не назначит. Это

и в самом деле казалось статочным.

У верховода же описываемой синодальной интриги против обер-прокурора Нечаева находили естественным предполагать такой план, что если только государь согласится сменить Нечаева, то просьбу о назначении Протасова он непременно отвергнет, и тогда «готовый обер-прокурор» явится у него на виду и дело будет сделано как надо.

По всем вероятиям, Андрею Николаевичу казалось, что государь сам о нем вздумает, а если он пожелает спросить мнения у митрополитов, то и тут для Муравьева риску не предвиделось, потому что иерархи, конечно, укажут на него, как на человека им преданного, который с ними давно «тайно сносился», «сам для них писал», и если желал обер-прокурорской должности, то с тем, чтобы ее, так сказать, «упразднить» и предоставить членам синода полную свободу действий. Выбор иерархов и действительно, казалось, не мог пасть ни на кого, кроме этого «фамильного и благочестивого мужа».

Но что человек предполагает, то бог часто располагает по-своему.

Так случилось и тут, несмотря на удивительную тонкость подхода, – может быть, несколько даже перетоненную.

Глава восемнадцатая

После «тайных сношений» с митрополитом Серафимом, которые не могли быть легкими, ибо «первенствующий член, старший митрополит в России» был «осторожный до трусости», Муравьев возобладал над выступающею чертою характера владыки. Он убедил робкого митрополита ехать к государю. Полагали, что в этом Муравьеву много помогла мастерская, по некоторым суждениям, редакция протокола и доклада, составленных и переписанных самим Муравьевым «без помощи канцелярии и без ведома исправлявшего должность обер-прокурорскую» (т. е. без ведома Протасова).

Последнее, может быть, происходило и не совсем так. Трудно представить, чтобы все это могло устроиться в совершенной тайности от Протасова, да и была ли в том какая надобность? Дело ведь велось в его пользу... Но чистосердечный секретарь верит, что Протасов ничего не знал.

«Доклад», с которым Серафим должен был предстать государю, с просьбою «о перемене

обер-прокурора», Муравьев сам составил, и сам его переписал, а затем сам же «собрал подписи от всех прочих синодальных членов».[6]

Филарета Дроздова, повторяем, в эту пору в Петербурге не было, и подписи его под этим конспиративным актом муравьевского сочинения нет.

Члены синода решили подписать этот акт, который, впрочем, был исполнен чрезвычайной мягкости и умеренности, а при том он даже изобиловал лестью «гусару», выраженной аляповато, но в самом семинарском вкусе. Это заставляет думать, что, кроме авторства Муравьева, тут есть и редакционные вставки и поправки людей иного воспитания.

«В докладе, между прочим, было написано, что настоящий обер-прокурор (Нечаев) – человек обширных государственных способностей, что для него тесен круг деятельности в синоде, и что синод всеподданнейше просит дать обер-прокурору другое назначение, а на его место желал бы иметь исправляющего обер-прокурорскую должность полковника и товарища министра народного просвещения

(Протасова) как человека известного по уму, образованности и усердию к церкви православно́й».

Не ясно ли, что если бы Н. А. Протасов и узнал о секрете, в котором члены синода оговаривают его перед государем в образованности и усердии к церкви, то он, пожалуй, мог немножко сконфузиться, но при всей пылкости своего кавалерийского характера не нашел бы, за что тут рассердиться? Весьма вероятно, что он оставил бы затеянное членами синода обходное движение дальнейшему течению без всякого своего вмешательства.

Это так и было: граф не помешал ни святителям, ни их дипломату, и только, может быть, втихомолку подсмеивался над сим последним, как над человеком, хитрости которого всегда были сметаны далеко сквозившими белыми нитками. Так шел он и здесь, даже едва ли ясно понимая, с чем ему придется бороться.

Не имея по своей «развесистости» большого успеха у женщин, Андрей Николаевич, очевидно, не умел взвесить способности дам выводить в люди своих любимцев, а святители

на этот счет были, конечно, еще неопытнее.

Глава девятнадцатая

Но если подпись доклада, льстивая как для отсутствующего обер-прокурора, так и для присутствующего его заместителя, не требовала еще большей храбрости, так как это было произведено всеми вместе, то представление бумаги императору Николаю Павловичу требовало мужества. Это было совсем другое дело, – тут надо одному отвечать за всех и вынести, может быть, минуту грозную.

Люди, близко знавшие государя Николая Павловича и освоенные с ним более частыми личными сношениями, в одно слово говорили, что из всех приближенных к императору лиц не было ни одного человека, который бы представал этому монарху спокойно, без неодолимого душевного трепета. Всякая типическая разница характеров здесь совершенно сглаживалась и исчезала до того, что, по шутливому замечанию одного из современников, при государе «даже Гросмихель опасался походить на Клейнмихеля».

Каково же должно быть положение человека, непривычного представлять свои докла-

ды такому государю, да еще, вдобавок, человека, вносящего свой доклад вне правил и как бы с указанием такого мероприятия, как перемена сановника, государем поставленного.

Конечно, это требовало не только обыкновенного гражданского мужества, но даже и огромного воодушевления и отваги.

Кто же должен был сделать такое дело?

Представлять доклад, конечно, надо было старшему из всей коллегии, где состоялась эта конспирация, и высокопреосвященный Серафим имел тут редкий случай испытать невыгоды старейшинства, редкие, но, однако, все-таки иногда возможные, даже и при наших порядках.

Исмайлов живописует бедственное в эти минуты положение митрополита Серафима таким образом:

«Осторожный до трусости, он знал государя ближе других и очень боялся оскорбить его величество неприятным докладом; однако, помолившись в Александро-Невском соборе Богу и угоднику, поехал во дворец».

Это, «однако», очень слабо выражает мучительную внутреннюю борьбу митрополита,

который будто поколебался немного, но потом, подкрепив свой дух молитвою, сейчас и отважился.

На самом деле это, рассказывают, уладилось не совсем так скоро и происходило, во всяком случае, при несравненно более продолжительных колебаниях. Высокопреосвященный Серафим считал возложенную на него миссию делом чрезмерной тягости, превышавшей все его природные силы, и до того выводил А. Н. Муравьева из терпения своею нерешимостью, что тот терял всякую надежду довести дело до конца.

– Бросил бы все, – говорил он, – если бы не стоял передо мною апостол с своим приказом: убеди его войти.

Не своим, а апостольским словом он убеждал и как бы постыжал робкого Серафима, пока возогрел его дух до необходимой решимости и пребывал при нем в тайных сношениях неотступно, пока вывел на действия явные.

Молитва у мощей была последним актом этой мучительной борьбы, но и то дух владыки, надо полагать, не был еще тверд и успокоен, ибо он уезжал в сильном волнении и, вы-

ходя из своих покоев, не раз присаживался, как бы желая бросить на все последний взгляд. Даже говорил:

– Бог знает, что будет, – молитесь.

Казалось, он как будто опасался даже, что не возвратится восвояси. Но, впрочем, как бы там долго и тяжело это ни происходило и каких бы нравственных мук владыке ни стоило, – дело, наконец, дошло до решительного момента и сильно взволнованный Серафим явился во дворец и предстал императору.

«Государь выслушал митрополита не совсем благосклонно; но доклад принял, а отпуская, принял и благословение».

Невыносимая тяжесть страха и боязни спала с робкой души «осторожного до трусости» старца, и он, конечно, с глубоко тронутым сердцем благословил императора.

Затем, выслушав просителя и прочитав подписанную им бумагу, «государь милостию утвердил доклад св. синода». Нечаев «получил назначение в сенат, а обер-прокурором сделан желанный товарищ министра, граф Н. А. Протасов».

Облегченный от совершенного трудного

предприятия, митрополит Серафим возвратился домой с тихой радостью, которую выражал, впрочем, очень сдержанно. Все перенесенные им тревоги, по-видимому, до такой степени его измучили, что он менее думал о том, кого сместил и кого выпросил, чем о том, что «гора спала с плеч». В объяснении, которое Серафим имел в тот же день с «тайно сносившимся» Муравьевым, он даже несколько был сух. Тот пришел с словами Исидора: «Печется господь о Пилусе, – благоветствую вам новую жизнь с Симпликием», а митрополит отвечал: «благодарю за Симпликия». Ему как будто стало все равно, кто будет обер-прокурором, он будто только уступал общему желанию членов и теперь более всего благодарен государю за его милость.

– А лучше или хуже будет с Симпликием, – говорил он, – этого я не знаю. Все меня утомило... Как будет, пусть так и будет – сами этого Симпликия выпросили... больше уж я не поеду... да, не поеду.

И он благодарственно перекрестился и добавил:

– Дай бог здоровья государю, что он так

обошелся, а теперь – как знаете, я не поеду. С меня довольно.

Разумеется, это «не поеду» относилось к предположению об отдаленном будущем, которое в эти минуты как бы предносилось очам старца, в самом деле всем этим совершенно измученного и теперь сугубо ценившего свой покой.

Муравьев был недоволен его «бесцветным настроением», но собственно ему в эти минуты, может быть, не нравился «весь туалет».

Глава двадцатая

Автор рассматриваемых нами воспоминаний сряду и без обиняков пишет: «синод ошибся». Выбор Протасова был вполне неудачен, но хуже всего приходилось иерархам оттого, что этот Симпликий был избран и расхвален государю самим синодом, как человек умный, образованный и усердный к церкви православной. «Этим новый обер-прокурор воспользовался». Началось в своем роде повторение истории Ровоамова царствования, и хотя Нечаев был далеко не Соломон ни в каком отношении, однако дошло до того, что его и с Соломоном сравнивали.

Некто, разделявший горести заседавших при Протасове иерархов, рассказывал такую трогательную историю:[7]

«Владыка Серафим, который тотчас по утверждении Протасова как бы предчувствовал, что с ним будет хуже, терпел молча, и Протасов ему снисходил за кротость, а другие говорили: Протасов нас забрал в руки по-военному, сразу и так задрал, так задрал, что просто голоса поднимать не смели. Как был

гусар, так им и остался, и сонмом архиерейским как эскадронем на ученьи командовал, а за глаза поносил всех перед чиновниками самыми кавалерийскими словами. Он знал, что – избранник, и как бывало разозлится, то и кричит про нас заочно: „пусть-ка сунутся на меня жаловаться! Я им клобуки-то намну“. Да никто и не думал на него жаловаться, потому что нельзя – сами его выбрали, да признаться, и духу уже ни у кого не стало... очень задрал. Владыку Серафима он меньше всех обижал, но однажды – не знаю уже, что такое ему в голову вступило, – такой оскорбительный для чести старика намек сделал, что тот только посмотрел на него, и когда ярый Протасов отвернулся, то владыко благословил его издалека и, вздохнув, стал подписывать бумаги».

«Все это происходило при чиновниках, которые держались одного Протасова, а на нас совсем озверели, но тут при этом случае даже чиновник, который подписи песком засыпал, окончив должность, припал и поцеловал у митрополита руку как бы со слезами...»

Не знаю, какой это именно был случай – подобных при Протасове было немало, но лю-

бопытно, что, видя оскорбление слабодушного старика, ни одному из его сотоварищей не пришло на ум хоть просто встать и выйти из присутствия. Такой протест не составил бы никакой грубости по отношению к месту, но был бы понят «гусаром» и, может быть, послужил бы ему не бесполезным уроком; но ни в ком не нашлось ни духа, ни такта.

«Задрал», да и кончено!

О последствиях этого казуса, который пронял до слез чиновника, засыпавшего подписи, рассказывалось так:

«Мы были в смущении и не знали: съехать после к митрополиту, чтобы выразить свое участие, или представить вид незаметливости, или как бы непонимания? Совета не делали, но все про себя нашли, что промолчать ему (т. е. Серафиму) самому будет приятнее. Только после двух или трех заседаний мне довелось быть у него и разговаривать о разном. Говорили о сведенборговом толковании св. Писания по соответствиям. А когда подали чай, то разговор прекратился, но владыка открыл книгу и стал читать слова Ровоама из 12-й главы Царств: „юность моя толстее чресл

отца моего. Отец мой наложи на вас ярем тяжек, аз же приложу к ярму вашему; отец мой наказа вы ранами, аз же накажу вы скорпионами“. И прочитав, вздохнул, закрыл книгу и, постучав себя в темя, сказал Феофановы слова: „о главо, главо!“ и прибавил: „то твоим радением все добыто“. Явственно было, что относил это к Протасову и давнему своему ходатайству, чтобы этот вдан был в отца и командира синоду. Такая скорбь минутами точила Серафима во все семь лет, которыми он пережил свое удачное посольство для протасовского испрошения. Вид один этого обер-прокурора был омрачением духа и потерей расположения, и всякий его тяготился видеть, кроме искателей. Избегали о нем говорить не столько, может быть, из осторожности и страха переносов, сколько неприятно было разговаривать, как все это добыто своим же добровольным избранием и испрошением, да еще с похвалами; но на памяти это страдание было постоянно. В сорок втором году – незадолго до кончины владыки, он раз заметил: „Выпхали тогда меня – как лягушку из болота послом к Юпитеру – просить вам царя, я сделал по же-

ланию (т. е. по общему желанию) – выпросил его вам, и вот семь лет смотрю, как он всех задирает. Дух из всех повышиб... Твори, Господи, волю свою, а с меня довольно его... (т. е. Протасова). Да, довольно... Вы просили его себе в цари и стяжайте в терпении вашем души ваши, а мне довольно... я уж больше не поеду... нет; никуда не поеду...“»

Он и не поехал; 17-го января 1843 года смиренного Серафима Глаголевского не стало и на кафедру митрополии новгородской назначен из архиепископов варшавских Антоний Рафальский – тот самый, который, в звании волынского «крутопопа», участвовал в православной коллегии, совершившей беспримерный прием от униатов Почаевской лавры.[8]

Глава двадцать первая

Но чем же обер-прокурор граф Протасов достиг того, что нагнал такой неодолимый страх и трепет на иерархов, которых он собственно не имел права подвергать никаким дисциплинарным наказаниям?

Это объясняется его системою, положившею новое начало в системе управления церковью.

Прежде всего граф Протасов оказался не только человеком ловким, но и человеком умным. Если верить одному анекдоту, то Протасов был даже и начитан в отеческих творениях, а притом обладал проницательностью и юмором. Рассказывают, что ему в виде намека на его неподготовленность кто-то анонимно прислал выписку из мнений Григория Богослова, где говорится об «опасности, чтобы священный сан не сделался наиболее подлежащим осмеянию, ибо председательство приобретает не добродетелью, но происками. Не бывает де ни врача, ни живописца без предварительной подготовки». Протасов будто подписал на этом из того же св. отца (пись-

мо к Василию Великому): «Не видал я ни одного собрания епископов, которое имело бы во всех отношениях полезный конец и не увеличивало бы бедствий вместо того, чтобы избавлять от них».

Анонимное послание с этою надписью было отослано как раз по тому адресу, по какому следовало.

Он понимал дела и отношения не по-семинарски. Благочестия же и особенно «усердия к церкви православной», за изобилие которого в нем ручались государю члены синода, на самом деле в Николае Александровиче Протасове было очень мало. Во всяком случае известно выражение: «и из тех, кои сидели в синоде, иные насилу притворялися, будто во что-то веруют», – относят к Протасову, ибо к Чебышову это относиться не может, так как это обер-прокурор открыто говорил «гнилые слова», что он в Бога не верует, да и синод будто решил, что Бога нет. Монахов Протасов не любил и, несмотря на свое гусарство, понимал их такими, каковы они есть, а не воображал, какими они должны бы быть. Как иерархи могли подчиниться лукавой мысли Муравье-

ва, чтобы испросить себе в командиры такого человека, – это просто непостижимо и составляет верх бестактности. Если верить, что государь Николай Павлович знал о синодальной затее и нарочно дал им срок обратиться испросить себе Протасова, то он наказал синод ужасно, и притом наказал на срок, способный превысить всякое терпение, именно – почти на двадцать лет...

Против Протасова члены синода не могли сделать ничего, так как на своего собственного избранника жаловаться не пристало, да и государь едва ли бы стал слушать такие жалобы.

Гусар быстро сообразил, что «синод запер для себя последний выход из стесненного положения, и воспользовался этим». Действовал он быстро и без всякого сострадания к избравшим его иерархам.

«Воспитанник иезуита, гордый не менее своего предместника, – начал с того, что преобразовал все высшее духовное правительство в России. В пособники себе он призвал чиновника (Сербиновича), тоже воспитанника иезуитов, – необыкновенно хитрого, и за-

мыслил с ним уничтожение синода». Совсем уничтожить синод было невыгодно для самого Протасова, а задача его была иная. Она состояла в том, чтобы в синоде «стало не видно синода», и граф Протасов «придумал такое начало». Начало само по себе не хитрое: оно заключалось в усиленном переполнении синода чиновниками и учреждении множества таких должностей, которых синод прежде не знал и без которых он, однако, обходился. Судя по тому, что целое ведомство староверческой, якобы «секретной», иерархии в Москве управляется при одном секретаре из московских купцов (Иване Ивановиче Шмбаеве), да двух или трех писарях, – надо думать, что это дело можно вести без большой министерской помпы. Все, что заводили при Протасове, было заводимо «напротив», с такою целью, чтобы все нововведения придавали синоду характер особого министерства. «Создали духовно-учебное управление под дирекциею наподобие министерского департамента. Для финансовой части учредили хозяйственное управление, тоже с особым директором. Самый синод являлся теперь как бы третьим де-

партаментом этой министерской организации...» Лицо, стоявшее во главе такого учреждения, уже могло ставить себя на одну линию с министрами и помышлять о личном докладе у государя.

Нечаев об этом много хлопотал и было устроил, но он как-то не умел себя держать при докладе, и потому это у него снова было отнято. Протасов же был мастер держать себя, и с ним подобного не случилось.

«При министрах полагается канцелярия – и в канцелярию переименовали отделение духовных дел православного исповедания, под дирекциею Сербиновича. Синод облегчился, бремя правления с него снято. Но этого мало – надо наложить руку на все. Синод имел канцелярию, которая, состоя под его приказаниями, чрез обер-секретарей составляла с ним как бы одно целое. Надобно было отлучить от него канцелярию. Учредили директора синодальной канцелярии, и канцелярия превратилась в департамент, а синод остался ни при чем: ни сказать, ни приказать, ни выслушать некого».

Вышло так, что «синода Протасов не уни-

чтожил, но из обер-прокурорства сделал настоящее министерство, если еще не больше».

В каком же отношении «больше»? Автор не поясняет этого, но надо думать, что он разумеет огромное влияние обер-прокурора на быт архиерейский и беззащитность архиереев перед его произволением... Конечно, и всякий иной министр может уволить чиновника от должности (кроме сенаторов, профессоров, следователей и судей), но уволенный чиновник волен искать себе места в другом ведомстве, или, если он годен на что-нибудь кроме службы, то он найдет работу и будет есть хлеб по благословению божию, нимало не чувствуя далее этого – тягостей начальственного расположения. Архиерей совсем не в таком положении.

«Устроив по такому плану управление православною церковью и духовенством в России, обер-прокурор стал действовать свободно, не стесняясь ни законом, ни церковными правилами.[9] Если (же) кто из членов синода возвысит голос в защиту своих прав или заговорит вопреки желанию обер-прокурора, того сдвинуть с епархии без суда и апелляции».

Здесь автор представляет дело не в полном свете: не только могли «сдвинуть с епархии», но могли послать на житье в такой монастырь, где жизнь хуже настоящей ссылки... И такие примеры бывали.

Конечно, это нисколько не способствовало образованию между русскими архиереями крупных и стойких характеров, о недостатке которых у нас высказано много соболезнований, и не без основания. Опасения за свою позицию соделали архиереев более искательными, чем ревнующими о вере, и дела веры, при всей огромнейшей организации центрального управления, пришли в такое положение, которое сами архиереи не хвалят.

Глава двадцать вторая

О чиновниках нечего и говорить. «Если кто останет не против синода, а за синод, того или выгонят совсем из службы, или лишат права на всякую выслугу». «Завелись секретные дела, пошли доносы и ябеды».

Автор пренаивно повествует о себе:

«Маленький, но самолюбивый (sic) чиновник, воспитанный в страхе и уважении к духовному начальству, я стал на сторону св. синода и через это подверг себя всем невыгодам дальнейшей службы». Его не повышали в должности, и когда в 1836 году обер-секретарь доложил синоду о следующем Исмайлову ордене Владимира, то «синод, единогласно, положил представить, но когда дело дошло до обер-прокурора, то он отменил и на настояние обер-секретаря сказал: „я не знаю заслуги Исмайлова: кому он служил, тот бы его и представлял“».

После этого Исмайлов сряду пишет: «жалует царь, но не жалуется псарь». Если сравнить эти досадливые и горькие слова с тем сладостным лепетом, которым этот человек изъ-

яснялся о своем поступлении в синод на службу, то можно подумать, что пятнадцатилетнее пребывание в этом священном коллегииуме Исмаилова не только не усовершило, но в некоторой степени как бы испортило его. Тогда он умилялся и благоговел перед камерою и ее обстановкою, а теперь он делает обидное и непристойное сопоставление обер-прокурора со «псарем».

Человек этот, очевидно, пал.

А между тем он совсем не из таких дерзких, чтобы его не следовало награждать. Со свойственною Исмаилову довольно забавною наивностью он говорит: «явно я не противился обер-прокурору, ладил со всеми его сателлитами, и он сам считал меня в своем полку, но все как будто сомневался – будто подозревал меня человеком двуличным».

Это претило, он только «явно» не противился и вел себя так, чтобы его числили в обер-прокурорском «полку», но в душе он носил что-то иное: хотел Владимирский крест, который ему был очень нужен, и не хотел, чтобы его подозревали в том, что он верен памяти Мещерского, а Протасова не любит...

Все это какие-то комики!..

Глава двадцать третья

Самым целостным из всей этой толчеи выходит во весь свой рост православный Андрей Николаевич Муравьев, наградивший синод обер-прокурором Протасовым. Подведя церковь «под гусара», он увидал, что сплеховал, и, получив, что мог, от Протасова, отбыл в страны дальные, но не с пустыми целями обыкновенного туриста, а с серьезною заботою просветить Рим насчет восточного православия и разъяснить русским несостоятельность римского католицизма... Со стороны Муравьева в этом нельзя не видеть некоторой заслуги: как бы там ни было, а все-таки он первый из светских людей начал писать о таких вопросах, которыми до него «светские» люди не интересовались и не умели за них тронуться. Наша система религиозного преподавания этому вполне благоприветствовала, и викарий Ключарев в своих недавних публичных лекциях в Москве высказался так, что это едва ли не было к лучшему. Занятие церковными вопросами, которые теперь заинтересовали многих (благодаря трудам мит-

рополита Макария Булгакова и профессоров Голубинского, Знаменского и Терновского), не повело к осуществлению давних желаний Кузьмы Пруткова, сочинившего, кажется, самый лучший проект «введения единомыслия в России».

Сочинения Муравьева по нынешнему времени в большинстве так несостоятельны, что заниматься чтением их – значит терять напрасно время, но тогда они читались и даже из них кое-что обязательно заучивалось наизусть. Они приносили автору хороший доход, который к последним годам его жизни вдруг остановился. Андрей Николаевич приписывал это умалению веры, происшедшему, как все злое, от одного несчастного источника, – «от тлетворного направления литературы», призванной быть козлом отпущения за все, что ведется неумелыми руками. Сам Муравьев жил не всегда в тепле да в холе, но иногда он нуждался и попрошайничал. Наконец он устроился и «стал на страже у Киева». Как настоящий православный богатырь, он сел над горою и смотрел во все стороны, чтобы мимо его ни птица не пролетела, ни зверь

не прорыскивал, – и надоел киевскому духовенству своею докучною и мелочною инспекциею до нестерпимости. Его даже считали вредным, и самую веру, которая одушевляла кипящею бодростью состаревшийся состав его длинных костей, называли не верою, а ханжеством. Впрочем, это был тип чрезвычайно цельный, и одно обстоятельство, сопровождавшее его кончину, должно служить тому сильным подтверждением его образцовой выдержанности.

В одном из большого числа сохраняемых мною писем епископа Филарета Филаретова, помеченном 27 августа 1874 года, есть такая приписка: «Умер А. П. Муравьев. Так скоро и быстро смерть его свалила, что и сам он не успел распорядиться своим добром. До конца однако же остался верен самому себе. Я соборовал его перед смертью. Он был почти в агонии, но после соборования все-таки сказал: „благодарю, чинно совершено таинство“».

Как жил он, так и угас, до последней секунды надзирая за «чинностию совершения таинств».

Духовенство русское более чем равнодуш-

но к памяти Муравьева и совсем не ценит его заслуг. Оно как будто понимает, что ханжеством всей своей жизни Муравьев не мог поправить того огромного зла, которое он причинил своим самолюбивым и опрометчивым поступком с посылкою митрополита Серафима к государю для испрошения синоду «гусара».

Нет нужды, что тайности эти далеко не всем известны и до сих пор, сколько помнится, не встречали печатной оценки – у массы есть свой инстинкт, которым она отличает добро от зла.

Некоторых до сих пор интересует любопытный вопрос: что если бы Андрей Николаевич Муравьев получил место обер-прокурора, – исполнил ли бы он свое намерение «упразднить» эту должность, или, по крайней мере, поставить иерархов выше себя и самому перед ними, как обещал: «смириться до приятия зрака раба».

Кто может решить то, что осталось тайным и неразрешенным в высших судьбах Провидения? Но насколько можно судить об исполнимости намерений по характеру и

другим свойствам человека, их выразившего, то я смею думать, что обещание Муравьева осталось бы неисполненным.

Глава двадцать четвертая

Андрея Николаевича Муравьева некоторые сравнивают с действующим ныне на литературном поприще князем Владимиром Петров. Мещерским. Сходство между ними действительно есть, но какое и в чем? Ведь критики духовных журналов находят сходство даже между Григорием Богословом и Шопенгауэром, или Василием Великим и Гумбольдом... Муравьев, во-первых, был несравненно сведущей Мещерского в церковных делах и знал как св. Писание, так и историю церкви, в чем никто не дерзнет обвинять князя Мещерского. Кроме того, Муравьев вполне понимал нравы низшего и высшего духовенства и любил задавать страху всем духовным, тогда как князь Мещерский строг только к «модному духовенству», с воротничками и чистым бельем на виду, а к «фиолетам» он сам искательно подъезжает на особом «духовном передке» (*ips. verba*[10]). Муравьеву же за то много и прощали, что он «гонял попов, да не давал спуска и архиереям». Здесь кстати расскажу, от какого случая он продолжал и

унес в гроб неприязнь с митрополитом Арсением, который его пережил немного и хотел было лишить его успокоения под церковью, а зарыть в землю, как обыкновенного человека. Митрополит Арсений, объезжая епархию, однажды обедал у какого-то таращанского или звенигородского помещика, – кажется, если не ошибаюсь, у г. Млодецкого, поляка. За столом были духовные особы, сопровождавшие митрополита, и местный ксендз. Православный же местный причет и соседнее духовенство во все время обеда ожидали владыку на дворе, стоя у крыльца вместе с евреями, собравшимися поглазеть на экипажи и на гостя. Андрей Николаевич сделал за это выговор митрополиту без всякого послабления, а тот, чувствуя справедливость сделанного ему замечания, никогда не мог искренно помириться с Муравьевым и завел это до того, что даже мстил ему мертвому. Митрополит сделал неожиданное затруднение в погребении его в склеп под Андреевскою церковью, хотя склеп этот был устроен Муравьевым гораздо ранее его смерти и не без ведома митрополита Арсения.

Так же были исполнены резкостей, и при том совершенно неуместных, некоторые отношения Муравьева к другому современному киевскому епископу – Порфирию Успенскому, большому и почтенному труженику, изыскания которого о Востоке должны быть высоко ценимы церковно-исторической наукою.

Выходит, что в последние дни своей жизни Андрей Николаевич из трех киевских архиереев кое-как благоволил только к одному, именно к Филарету Филаретову, да и к этому он преложил свой гнев на милость только незадолго перед смертью, и то благодаря особому расположению, которое оказывал Филарету содержащий ключ ко многим сердцам богач Павел Демидов Сан-Дonato.

Таков был неуживчивый, беспокойный и претенциозный, но не лишенный некоторой смелости и отваги характер «готового», но «не состоявшегося обер-прокурора», А. Н. Муравьева. По этому краткому, нельстивому, но и беспристрастному очерку всякий может сам умозаключить: были ли достаточные основания сожалеть, что Муравьеву в свое время был предпочтен Протасов, а потом другие, и

можно ли было ожидать, что при Муравьеве христианство в России стало бы чувствовать-ся больше?..

Глава двадцать пятая

Из запутанной и неясной, но во всяком случае характерной истории борьбы, которую мы как могли рассказали с своими и чужими соображениями, может быть, и ошибочными, обыкновенно выводят или тщатся выводить, что благоуспешность проповеди и вообще церковного благочестия в России остановили маловерие одних обер-прокуроров и крутое самовластие других.

Верно ли это однако?

Сами мы этого разбирать не станем, так как это увлекло бы нас значительно дальше того, докуда мы метим собственно в интересах исторической заботы уберечь предания; но отметим краткое замечание, высказанное об этом г. Владимиром Соловьевым в журнале Ив. С. Аксакова.

По поводу нынешних жалоб на упадок в России «духовного авторитета», г. Соловьев емлется за достопамятное заявление епископа уфимского Никанора, который в слове на новый 1882 год откровенно, с кафедры возвестил, что «никто уже у них (епископов) боль-

ше не хочет учиться и их слушаться».

Положение епископов очень странное, но редакция «Руси» и ее начитанный в церковных вопросах сотрудник усматривают главную причину этой странности все-таки не в недостатке охраны или в слабости защиты «церковных интересов», а совсем в другом – именно в том, что («Русь» 18 сент. 1882 г., № 38) в описанном отчаянном положении «иные благонамеренные, но неблагоразумные ревнители духовного авторитета прибегают к отчаянному же средству – к признанию за русской местной (!) иерархией привилегии непогрешимости во всех церковных делах, что составляет во всяком случае не совсем удачную пародию папизма».

Горячая преданность обоих этих лиц (Аксакова и Соловьева) интересам православия, разумеется, заставляет отнести к их словам с серьезною проверкою, тем более, что приведенные слова, кажется, справедливы и во всяком случае глубоко доброжелательны и искренни. А это во всяком разе те свойства, недостаток которых всего ощутительнее во всей рассмотренной нами истории.

Впервые опубликовано – «Исторический вестник», 1882.

Примечания

Приняв у Муравьева книгу, государь Николай Павлович сам «назначил его за обер-прокурорский стол в синод» (см. приписку Муравьева к 24 письму Филарета Дроздова). Считали, что этим назначением государь как бы «наметил» Муравьева к обер-прокурорству и послал поучиться. Были уверены, что при первой смене обер-прокурора должность эту непременно займет Муравьев. Сам он тоже, кажется, не должен был в этом сомневаться. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Филарет Дроздов в этом отношении был несравненно деликатнее и не торжествовал по случаю семейного горя Нечаева. В изданных Муравьевым в 1869 г. «Письмах митрополита московского Филарета к А. Н. М.» (1832–1867), под одним письмом, писанным из Москвы 6-го июля 1836 г., есть такой *post scriptum*: «Здесь на сих днях ждут Стефана Дмитриевича (т. е. Нечаева). Не знаю, дождусь ли его. Не слышу, как он переносит свое лишение. О покойной можно думать с миром. Жаль его и детей». (*Прим. Лескова.*)

«Наконец, хочется мне сказать, чтобы вы поклонились от меня графу Николаю Александровичу» (т. е. Протасову). (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

жизнеописание (*Лат.*)

[^^^]

Николай Александрович Протасов занимал должность синодального прокурора с 1836 по 1855 г., т. е. в течение целых девятнадцати лет, а Нечаев всего три года (1833–1836).
(Прим. Лескова.).

[^^^]

ВЫШИВКИ (Франц.)

[^^^]

В воспоминаниях или записках, которые были в шестидесятых годах напечатаны в «Русском вестнике», помнится, как будто были поименованы все лица, подписавшие этот доклад. (Прим. Лескова.).

[^^^]

Меня могут укорить, что, приводя в других случаях имена лиц, на свидетельство коих ссылаюсь, – здесь, где такое указание было бы всего уместнее, я употребляю неопределенное «некто». Очень об этом сожалею, но иначе сказать не могу, а постараюсь только объяснить причину. Этот «некто» был архиерей, на ближайшей родственнице которого был женат мой двоюродный дед, Иван Сергеевич Алферьев, служивший в московском сенате, а родной его брат, а моей матери отец, Петр Сергеевич Алферьев, имел обычай вести ежедневные записи всего, по его мнению, замечательного. В этих записях и ветречаются любопытные рассказы, которые мною теперь частью вставлены. Но приводятся они просто под такими словами: «преосвященный рассказывал у брата Ивана», – или «были у преосвященного и слушали, что он говорил», – и далее самая запись, о чем был разговор. Но как звали этого преосвященного, нигде не записано, и я его не знал и не видал, да и происходило все это в годы моего сущего младенче-

ства. (Прим. Лескова.).

[^^^]

О высокопреосвященном Антонии Рафальском любопытно бы выяснить одно странное недоумение, в которое вводит литература, не согласная с фактом и с преданием. В «списке архиереев и архиерейских кафедр», который в 1872 году издал бывший товарищ синодального обер-прокурора Юрий Васильевич Толстой, Антоний Рафальский значится под № 281 с такими, между прочим, отметками: «1833 архимандрит, наместник Почаевской лавры, 1843 митрополит новгородский; 1848 ноября 4 уволен по болезни от управления, а 1848 ноября 16 скончался». Все, что касается увольнения Антония «по болезни», есть или ошибка со стороны Ю. В. Толстого, или же указание на какой-то синодальный секрет, которого не знал никто, – ни миряне, ниже само петербургское духовенство, но Толстой, которому были доступны синодальные тайности, мог знать более. Обыкновенно все думали и думают, что хотя Антоний и прихварывал недугом невоздержания, усвоенным им во время почаевского жития «при униатских

остатках», но что он все-таки умер не оставленный от митрополичьей кафедры и от места в синоде. Между тем оказывается, что он был уволен и скончался уже не митрополитом новгородским, – чего, говорят, будто не знал ни сам больной, переживший свое удаление только двенадцатью днями, ни все его окружающие, из коих многие до сих пор здравствуют и известию об удалении «зашибавшего» Антония весьма удивляются. Однако, приходится думать, что митрополит Антоний действительно был уволен, и именно 4-го ноября 1848 г., потому что в этот самый день (когда он был еще жив) на его место был уже определен Никанор Клементьевский. Был, конечно, случай, что во вселенной одновременно были два вселенские патриарха, но то было при беспорядках Римской империи, но у нас два митрополита одновременно не могли занимать одну и ту же кафедру. Здесь, однако, имеем образец, как далеко распространялся в то время принцип «канцелярской тайны», к которой ныне обнаруживается обловленное влечение, и, однако, никаких больших благополучий от торжества этого принципа не по-

следовало. (Прим. Лескова.).

[^^^]

Не знаю, следует ли этому верить. Протасов в числе прочих своих ловкостей очень умел представлять себя верующим и почтительным к церкви. Из всех обер-прокуроров едва ли не он один устроил у себя домовую церковь, в которой до самой недавней поры часто дьячил известный в своем роде эпитроп и писатель Филиппов. Тоже и о правилах: напротив, Протасов первый издал так называемые «соборные правила» и «этим, а также и другими действиями в пользу православия старался приобрести расположение старца Серафима и приобрел». Это я беру из рассказа, вставленного Муравьевым между 24 и 25 письмами Филарета. Конечно, это противоречит тому, что пишет о Протасове Исмайлов, но правды в этой истории, где все наперебой хитрили, добиться чрезвычайно трудно. В шестидесятых годах нам приводилось читать в «Рус. вестнике» чьи-то любопытные записки, где эта борьба излагалась еще как-то иначе. Очень жаль, что, не имея полного указателя статей «Русского вестника» за те годы, мы ли-

шены возможности сверить воспоминания Исмайлова с воспоминаниями, напечатанными в журнале М. Н. Каткова. Андрей же Н. Муравьев в своих приписях что-то как бы нарочно путает. Напечатав письмо № 24 (от 6 июля 1836 г.), он делает такое прибавление: «Письмо это знаменует эпоху и в моем собственном быту, и в делах управления церковного. Обер-прокурор Нечаев должен был отправиться на юг по болезни жены своей и на это время испросил (сам испросил), чтобы его место заступил флигель-адъютант граф Протасов, человек весьма образованный и ловкий в делах; но такое назначение военного было довольно странным и смутило архиереев». Далее говорится о Филарете Дроздове: «Он был в холодных отношениях с графом, который не имел к нему доверенности по наговорам о его мнимом мистицизме и протестантстве». Известно, что это со стороны Протасова было просто предложением к устранению Филарета с синодального горизонта. Но если верить здесь Муравьеву, то выйдет, что Протасов был православнее самого Филарета, и тогда покор его Сербиновичем и иезуитом напрасен. Еще ни-

же писано: «Члены (синода) желали, чтобы он заступил место Нечаева, ими нелюбимого; это вскоре исполнилось, когда Нечаев, лишившись жены, был назначен сенатором в Москву. В то же время и мне граф Протасов испросил звание камергера за мою трехлетнюю службу» (т. е. за прошлую службу при Нечаеве)...

Я прошу сопоставить эту чуткость Протасова к заслугам Муравьева, которых он не видал, и подумать: не имеет ли в этом какого-нибудь подтверждения мое предположение, что усердие Муравьева по составлению доклада об испрошении Протасова могло не быть секретом для этого «ловкого в делах человека»? Я так думаю, несмотря на то, что у Муравьева, который в других случаях речист, здесь все так нагорожено, что из-за леса деревьев не видно. Напутано даже то, что Протасов будто привлек к себе внимание иерархов изданием «соборных правил», тогда как книга эта была издана Протасовым, когда он уже был обер-прокурором. А что члены синода «желали» иметь Протасова, и как они его добывали, – это все скомкано так, что механики,

раскрываемой Исмайловым и другими памятливými современниками, – совсем не видно...

Впрочем, и на это сказание о самом желании членов есть вариант и, одно время, в духе его замышлялася целая историческая отповедь: епископ Виталий Гречулевич, помнится, находил возможным привести вопрос к такому выводу, что члены синода в испрошении флигель-адъютанта Протасова на обер-прокурорство – совсем неповинны. Словом, дело это разные любители истины много раз старались затемнять, и простодушные воспоминания о нем Исмайлова разъясняют в нем многое лучше всяких иных подборов и выводов. Простодушие Исмайлова, может быть, лучшая порука за его искренность.

Если же может быть доказано, что «члены тут ни при чем», то стало быть все сделано Муравьевым, который был головою и душою этого дела и получил за то от возведенного его радением в обер-прокуроры флигель-адъютанта камергерское звание.

Вот за что, значит, было предано в команду гусара святейшее собрание русской церк-

ви, явившееся послушным орудием в руках одного интригана, который вел для него одного лишь беспроигрышную и выгодную игру.

Это, я думаю, должно прочно установиться даже в том случае, если в плетень вплетет свое слово и от<ец> Гречулевич. (*Прим. Лескова.*).

[^^^]

ipsissima verba (*Lat.*)– дословно: совершенно точно.

[^^^]